

УДВОЕНИЕ СВЕТА

Рассказ

В час восхода полной луны Долгов испытывал беспокойство. Впрочем, беспокойство, кажется, не то слово, которым определялось его душевное состояние, когда он, выйдя из дома, останавливался у каменной ограды и смотрел на восток, в темную степь, где тихо занималось лунное туманно-багровое зарево. Скорее, его охватывало неясное томление, в котором были и досада, и легкий страх, и ощущение таинственного зова, который исходил оттуда, где за горячим полынным духом и стрекотанием кузнечиков поднималась огромная и круглая полупрозрачная луна. Долгов смотрел на нее, облокотясь на камни ограды и, подперев кулаками подбородок, ощущал ладонями и пальцами колючую щетину небритого лица, и из мешанины обломков мыслей и чувств, колыхавшихся на медленных и тяжелых волнах его усталости, вдруг вылавливал то, что его беспокоило и томило — желание. Желание выйти за ворота и, махнув рукой на все, уйти за восходящей луной, все время держа ее перед глазами, как путеводную звезду, и так дойти до моря... В такие минуты Долгову почти верилось, что по этой лунной дороге, по этой изогнутой, как лук, стезе он выйдет к той точке берега, где начинается Золотая коса, чей дальний мыс венчает Чудо. Почти верилось: ведь не такой же он безумец или простак, чтобы поверить в старую сказку до конца.

Сказку эту он знает давно, с детства, с той счастливой поры, когда так щекочут душу всякие байки о таинственном и чудесном. Кто и где ее вычитал или выдумал — неизвестно. Но рассказывают ее и теперь, когда почему-либо заходит речь о луне. А глядят на луну здесь часто, особенно теплыми летними вечерами, когда она висит в небе и светит так притягательно, что глазом не обойти. Детская сказка. И выдумать ее было нетрудно: в той стороне к востоку от села есть не сказочная, а настоящая коса, песчаная, семикилометровая, вонзающаяся в залив едва ли не на его треть, обозначенная на картах, известная всем местным жителям, особенно рыбакам и охотникам, узкая, безлюдная — лишь на самой ее оконечности стоит ветхий каменный домик, рыбацкое пристанище в сезон путины. У рыбацкого домика стоит одно-единственное дерево — корявый, полусохший серебристый лох. Ему лет семьдесят, если не больше: Долгов помнит его с детства, а теперь уже и самому Долгову за шестьдесят. Вот такая эта настоящая, а не сказочная коса. И называется она, конечно же, не Золотой, а Белой косой, потому что на самом деле белая, из белого песка. А уж какой белой она кажется, когда море, замордованное штормами, становится черным — будто длинный нож из белой кости на черном бархате...

Долгов не раз бывал на косе, в домике, но не по рыбацким делам, а по охотничьим, и не в эту пору, не в весеннюю, а по осени, когда начинаются

утиные перелеты. Ходил туда, конечно, не один, а с мужиками, чтоб не затовковать там в долгую, холодную и чаще всего дождливую ночь, дожидаясь рассвета, когда пойдет утка.

Но и это было давно. Другие теперь ходят туда, кто помоложе, кому интересно еще балагурить и пить водку у ночного костра в предчувствии удачливой охоты. Долгов уже не охотник — стар для этого. И предпочитает всем дружеским и недружеским компаниям одиночество, потому что и по сути своей стал одиноким, всеми покинутым, всеми отвергнутым. А тут и жена умерла, в доме без нее пусто — ни голоса, ни шагов, ни приюта. Детей нет. Был сын — погиб в Чечне, сгорел в танке... Ах, что за проклятая судьба, когда молодой красивый мужчина погибает безвременно и ни за что. Вот ведь какая история: хочешь плач, хочешь, кричи от горя или застынь, как камень — ничего не изменить.

Еще совсем недавно люди так и вились вокруг него, так и роились, не могли без него обойтись, потому как был он для них директором, руководителем, отцом родным. И вдруг все лопнуло и померкло, как перегоревшая лампочка: кончилось его директорство, рассыпалось его хозяйство. Винаватых в этом много, но дело уже не поправить: дух братства в народе ослабел и умер. И время ушло, его время, Павла Долгова: подкатила старость, ничего теперь на будущее не задумать, дней не хватит, сил не хватит, разве что какой-нибудь пустяк затеять.

Конечно, на почет рассчитывал, на благодарность людскую — как же иначе: ведь какое село в степной глуши отгрохали, какое хозяйство обустроили, какую жизнь наладили!.. Правда, свободы, говорят, не хватало, свободы на то, чтоб все богатство растащить по своим дворам. Получили нынче свободу, растащили. А его, Павла Долгова спихнули на свалку. Теперь избегают встреч с ним, стыдятся его: ведь он укор для них. Почет и слава повернулись к нему обратной стороной: был герой — теперь изгой. Он давно спрятал в шкатулку свою Золотую Звезду, другие ордена и медали, потому что сегодня они удостоверяют лишь то, что ты когда-то *был*... Все это теперь не имеет значения. Да и обиды перегорели, надежды угасли, желания остыли. Пришло время подумать о покое, в том числе и о вечном покое. Чтобы уйти с очищенной и легкой душой — без обид, без сожалений и страха. Утихнуть, как утихает ветер: только что был — и уже нету. А не получится, так с треском, с громом, с проклятиями.

Это было зимой. Пришел он на сходку, где речь шла о дележе племенного стада, и раскричался. Не мог иначе: на создание этого стада ушло десять лет, оно приносило хозяйству едва ли ни главный доход, а теперь его растаскивали, а там, на частном дворе, и бескормица, и холодрыга, и никакого ветеринарного досмотра, и вообще... Его слушали угрюмо. А потом сказали: ты уходи, ты свое откомандовал, откричал, хватит, уходи. Он спросил: куда уходить? Ему ответили: а хоть к черту на рога, только не путайся у нас под ногами.

Несколько дней он не выходил из дому, не одевался, бродил по комнатам в исподнем, не брился, ничего не готовил, пил вино, валялся в постели,

грохнул об пол сервиз, который ему подарили в день шестидесятилетия от имени рабочих совхоза, сунул босые ноги в охотничьи ботинки, потоптался по осколкам чашек и блюдца, рыча от негодования. Грубо накричал на соседку Клавдию Бокареву, которая стряпала ему обеды с той поры, как он овдовел, сказал, чтоб она больше не приходила, что обойдется без ее помощи, сунул ей в руки шубу покойной жены и вытолкал за дверь — расплатился. Клавдия с того дня и не приходит, обиделась, конечно. И было за что: борщи готовила ему отменные, пироги пекла, вареники лепила, капусту на закваску шинковала, огурцы солила. И как женщина вдовая не отказывалась бывало лечь с ним в постель, чтоб утешить, отогреть.

«Так вот, уходи! — сказали ему. — Уходи хоть к черту на рога! Не путайся под ногами, партократ проклятый!» И еще это: «Ты свое откомандовал, откричал — хватит!» Только он никуда уходить не собирался: здесь и его родное гнездо, на всем лежит печать его стараний и забот, любая тропа здесь и его башмаками торена. Но однажды у магазина, где мужики грелись на первом весеннем солнышке, пили вино и зацепили его разговором, он ни с того, ни с сего взял да и ляпнул, что, мол, уйдет, пошлет все к чертям, ни о чем не пожалеет, чтоб только не видеть их ненавистные рожи. Мужики ржали, потому что грубость его слов их никак не оскорбила, предлагали побиться об заклад или хотя бы поспорить на ящик вина, что он не уйдет из села, он же снова послал их куда подальше, сказал, что никогда не доставит им такого удовольствия, а себе непременно доставит — плюнет на все и уйдет. Мужики снова ржали, запивали смех вином, провожали Долгова вопросом, когда же он решится на такой геройский поступок. Он ответил, что уйдет, как только потеплеет, чтоб не простудиться в дороге и не свалиться с ног.

Слух о том, что он сказал мужикам у магазина, сразу же разошелся по всему селу: мужики наболтали своим бабам, а те уж разнесли весть повсюду. Судачили, будто ничего он с собой из имущества не возьмет, все отпишет своей любовнице Клавке Бокаревой, а сам уйдет только с сумой да клюкой, как нищий. И добавляли с завистью, как же этой Клавке-Плоскодонке здорово повезло. Плоскодонкой Клавку прозвали за то, что, сколько ее помнили, она всегда была худая — ни сзади, ни спереди у нее ничего не выпирало, как у лодки с плоским дном. Плоским было Клавкино тело, а душой Бог наградил ее золотой: за всех-то она болела, за всех переживала, потому и определила ей судьба быть фельдшерницей. Фельдшерница же в деревне — более, чем кудесница: какая ни приключится болезнь, Клавка бежит, топчет своими длинными ногами, позвякивает тертой-перетертой фельдшерской сумкой. Какие-то мужики к ней приценивались, иные даже похаживали к ней, пока она была помоложе, а потом в семейном плане все у нее затихло-заглохло.

Хлопнула входная дверь в доме. Долгов оглянулся и увидел Клавдию. Она стояла на пороге, кутаясь в грубую серую шаль. Извинилась, что вошла без стука, явилась без приглашения. Долгов на ее извинения не откликнулся, вздохнул досадливо и спросил, зачем она пришла, по какому-такому не-

отложному делу. Клавка ответила, что пришла посмотреть на него, на сукиного сына, который распространяет по селу слухи, будто хочет отписать ей все свое движимое и недвижимое имущество в награду за любовные ласки, которые она ему дарила не из корысти — неужели не помнит?! — а по чувству, потому как не торгует любовью, как некоторые шлюхи городские, а на его имущество ей наплевать. Она говорила гневно и долго, хотя в глазах ее стояли слезы страдания, и все куталась в шаль, будто хотела спеленать себя до полной неподвижности, как мумию.

Долгов дал ей выговориться, потом подошел к ней, повернул лицом к двери и потихоньку вытолкал ее за порог, сказав, что ничего ей не отпишет, пусть зря не волнуется, а уж если решит уйти из дому, то ему все равно, что потом станет с домом и всем имуществом.

«Может, подожду все, — сказал он, закрывая за Клавдией дверь, — чтоб никому не досталось. А живность разгоню». Живность — это гуси, двадцать голов, поросенок Тимоха, которого завел месяц назад, две кошки да собака — старая дворняга Булька. Булька помнит его погибшего сына Павлушу и покойную жену, конечно. Нет, Бульку он не станет прогонять, возьмет с собой...

Иногда Долгов ловил себя на том, что все эти его мысли о доме, о живности, вообще об уходе из села — не вполне настоящие, что им не хватает серьезности, основательности. А отправиться по миру с сумой да клюкой, как болтают некоторые, он вообще не помышлял. Да и Белый мыс или Золотой мыс — тоже ребячество, если не дурость. Конечно, если там поставить приличную дачку на месте рыбацкого домика, подвести электричество, воду, устроить погреб с вином и продуктами, поставить в гараже исправное авто, тогда какой вопрос?! Хотя главное там — море: над морем настоящий воздух, небо смотрится в море, в море отражаются звезды, море удваивает свет...

«Удвоение света» — это стихотворение, которое Долгов услышал однажды от одного заезжего поэта. Сначала поэт читал это стихотворение со сцены для всех, а потом, уже во время застолья, Долгов попросил поэта прочесть это стихотворение еще раз. Тот не отказался, прочел. Долгов, помнится, даже всплакнул тогда — так его проняли стихи. И вино, конечно, но прежде всего — стихи. Стихи были о том, что душа — золотой шар, в котором отражаются звезды, когда забыто и все земное; что в море, как в душе, тоже отражаются звезды; что морю и душе любо глядеться друг в друга, потому что так происходит удвоение звезд, удвоение света...

С ночи опять задождило и это было досадно: уже апрель, весна, а тепла все нет и нет. Когда идет дождь, он вспоминает о Танечке, о покойной жене, которая похоронена на кладбище за гаражами, о том, как ей там одиноко, холодно и сыро. А Павлуша сгорел в огне...

В доме у него есть телефон, в гараже — машина, в погребе — вино, в шкафу — хорошая одежда. Только вот позвонить некому, и поехать некуда, и вина выпить не с кем, и в хорошем костюме никуда не пойти — никто в гости не зовет, кино в клубе давно не крутят, собраний не бывает.

Долгов выключил надоевший ему телевизор и сидел просто так, с Булькой на коленях, откинувшись на спинку дивана, хотя ему было не совсем удобно: диванная спинка почему-то давила ему на лопатку, должно быть, скомканной подушкой, но ему лень было поправлять ее, вернее, не хотелось — уж так хорошо и доверчиво спала у него на коленях Булька, жаль было бы ее потревожить.

И вдруг зазвонил телефон. Долгов даже не сразу понял, что это за звонок такой, откуда он взялся — так давно ему не звонили. Булька соскочила с колен, залаяла, бросилась к тумбочке, на которой стоял телефон — она всегда бросалась на него с лаем, когда он звонил, норовила укусить трубку, вырвать ее из рук Долгова, — не любила, понимала, что кто-то неспрошено вторгается в дом. Долгов поругивал ее за это, но не очень — он и сам не любил неожиданных телефонных звонков, особенно беспардонных звонков, когда его беспокоили дома по делам, с которыми следовало обращаться к нему в контору.

Но таких наглых звонков, как этот, еще не было: незнакомец, едва Долгов отозвался, сказал громко и вызывающе: «Ты, Долгов, мотай отсюда! Не то получишь пулю в живот! Ха-ха!»

Долгов спросил, кто говорит, но трубку на другом конце провода тотчас бросили. Долгов поднял на руки все еще бросавшуюся на телефон Бульку, погладил ее, прижался подбородком к ее голове. Булька успокоилась. Долгов похвалил ее, сказал, что звонил какой-то мерзавец, что гнев Бульки был справедливым и что теперь им следует обдумать услышанное по телефону и принять решение, стоит ли пугаться наглой угрозы или оставить ее без внимания.

Вообще-то в Долгова уже однажды стреляли, и не так давно — всего год назад, и целились, кажется, в живот, хотя пуля попала в правое подреберье, раздробив два ребра на вылете. Долгов тогда целый месяц провалялся в районной больнице, а потом еще два месяца ездил в клинику на всякие процедуры и месяц находился под присмотром Клавдии. Кто в него тогда стрелял, выяснить не удалось, но за что в него стреляли, догадаться было нетрудно: он только что выдернул тогда из-под разграбления винзавод, правда, ненадолго — теперь он в руках двух бывших районных чиновников.

Впрочем, враги у него есть и сейчас. На минувшей неделе, к примеру, стоял он у своего погреба и смотрел, как сосед Кульков копался в куче хлама, сваленного за коровником. В куче же этой чего только нет: и столбы, и рельсы, и листовое железо, и две бухты медного провода, и старый мотор от комбайна, и колеса от сеялки, и несколько плужных лемехов, и электродвигатель с молочного завода, и керамические трубы из дренажной системы, банки от аккумуляторов, тарные ящики, циркулярная пила, пять штук металлических бочек, скат от трактора «Беларусь», метров сто телефонного кабеля, железобетонные колодезные кольца, шифер — всего не перечеть.

Кульков что-то искал в этой куче, а когда увидел Долгова, плюнул себе под ноги и скрылся за коровником — рассердился, значит, смутился тем, что Долгов наблюдает за ним, понимая, что весь этот хлам, а вернее, все

это добро Кульков притащил в свой двор, приворовывая то там, то сям, в совхозных складах и мастерских, и что тут, у коровника, лежит не самое ценное. Самое ценное, конечно же, припрятано в сарае, в погребе, на чердаке, в кладовке. Можно ли убить Долгова за такую догадку? Черт его знает. Но пригрозить по телефону можно.

Не Кульков, разумеется, звонил. Долгов вспомнил о нем только к примеру. И таких примеров, а то и покруче, можно набрать дюжину.

Долгов опустил Бульку на пол, вышел на веранду, надел старую фуфайку, шапку, башмаки, прихватил большое ведро, включил наружный свет, толкнул дверь плечом — дверь набухла от сырости — и шагнул через порог, под дождь, направляясь по освещенной дорожке к угольному ящику. Набрал полное ведро угля. Уголь, слава Богу, хороший, крупный, блестящий на сколах — «кулак». Алешка привез, его бывший личный шофер, постарался. Впрочем, какое там постарался — Долгов едва допросился, чтобы тот съездил за углем. Алешка не отказывался съездить, но всякий раз ему якобы что-то мешало, какие-то важные дела. Хотя дела, у него, конечно, были, но не прежние шоферские, а коммерческие — Алешка вошел в команду, которая торговала теперь по всему району сибирским лесом. Возглавлял ее, эту команду, бывший заместитель Долгова, а еще раньше совхозный партийный секретарь Егор Курасов, который правдами и неправдами получил в собственность восемь грузовых машин — целый автопарк. Теперь Курасова в селе называют коммунистом-капиталистом.

Долгов высыпал уголь в печь, на дровишки, вынес пустое ведро на веранду, погасил наружный свет и вышел на крыльцо, чтобы поглядеть на небо, нет ли там просветов звездных, предвестников того, что дождь скоро утихнет. Дождь был косой, с ветром, хлестнул Долгова по правой щеке. Долгов отвернулся, прикрылся ладонью, шаря глазами по черному беспросветному небу. Потом сошел со ступенек, отошел чуток от крыльца, чтобы посмотреть и на другую половину неба, что над крышей дома...

И тут его оглушил выстрел. Ощувив обжигающий удар в спину, он кинулся на крыльцо, но споткнулся и упал у двери веранды. И в тот же миг прогремел второй выстрел. На этот раз дробь его не достала, кучно угодила чуть выше в мокрую дверь.

Еще не зная, что ему досталось от первого выстрела, он поднялся на четвереньки, чувствуя, что спина его онемела от боли, толкнул рукою дверь и переполз через порог на веранду. Немного повременив, поднялся и погасил на веранде свет. Теперь он был не виден с улицы, откуда в него стреляли, и, наверное, в безопасности. Вошел в дом. Булька с визгом бросилась ему под ноги.

Долгов сбросил с себя башмаки, фуфайку, повернулся спиной к зеркалу и увидел, что вся рубашка на спине пошла темными кровавыми пятнами. Выдернул рубашку из-под брючного ремня, расстегнул ее до последней пуговицы, скинул осторожно с плеч, потянул сзади за рукава. И когда рубашка отлипла от спины, ощутил горячие струйки крови вдоль позвоночника. Снова повернулся спиной к зеркалу, насчитал десять ранений — десять

вздувшихся и кровоточащих точек, в которых засела дробь. Булька, чужая запах крови и йода, которым он попытался смазать себе спину, металась вокруг него и визгливо лаяла. Бедное животное страдало, понимая, что с его хозяином приключилась беда.

Еще одно существо в эти минуты уловило невидимые токи беды, исходившие из дома Долгова. Этим существом была Клавдия Бокарева, Клавка-Плоскодонка, фельдшерница. Конечно, она услышала выстрелы. Но выстрелы слышали и другие люди, соседи же Долгова просто не могли их не слышать, например, тот же ворюга Кульков. Но никто, кроме Клавдии, к Долгову не прибежал. Клавдия же ворвалась, едва не выламывая двери, как вихрь, как шаровая молния, с грохотом и треском, включая свет всюду, где только возможно. Так что через полминуты после ее появления дом Долгова светился всеми окнами на все четыре стороны света.

Клавдия прибежала со своими нехитрыми инструментами, по выдергивала из спины Долгова дробины. Это была «безымянка» — самая крупная дробь. Такой дробью можно прошить человека насквозь, но Долгова спасла одежда, его ватная фуфайка. Словом, Долгову повезло.

Клавдия позвонила участковому, но тот оказался в стельку пьяным — праздновал именины зятя — совсем не вязал лыка и ничего не понял. Потом она по старой советской привычке позвонила Егору Курасову, бывшему секретарю парткома и заместителю Долгова. Курасов, выслушав Клавдию, послал ее куда подальше и потребовал, чтоб она его больше не беспокоила, поскольку нормальные люди ночью отдыхают, а не глушат водку и не трезвонят по телефонам.

— Брось! — приказал Клавдии Долгов.

Она послушалась, горько заплакала и запричитала, вопрошая бог весть кого о том, что же это теперь делается, что честный человек не может выйти ночью на улицу, потому что в него стреляют, что никому до этого дела нет, хоть ты умри, что не осталось в людях никакой жалости, никакого сочувствия, а одна лишь жадность и душевная черствость, хотя теперь каждый второй похваляется, что верит в Бога, но это все притворство, одно лицемерие и пакость, это плохо кончится, потому что смотреть на такое безобразие тошно, скоро Господь объявит конец света, умные люди уже вычислили, когда этот конец света наступит, она читала про это в одном журнале и знает теперь совершенно точно, что конец света — четырнадцатого мая...

— Когда? — переспросил Долгов.

Она повторила дату, но тут же набросилась на Долгова, стала упрекать его в том, что он ни во что не верит, что все предсказания для него только хихоньки да хаханьки, потому Господь и не защищает его, потому в него и палят из ружей все, кому не лень, и однажды убьют совсем.

— Вот и ладно, — сказал Долгов и потребовал, чтобы Клавдия шла домой, поскольку уже поздно, спина у него успокоилась, и ему хочется спать.

Клавдия обиделась, сказала, что впредь она и шага в сторону его дома не сделает, потому что он так уже опротивел ей, что один его вид приводит ее в ярость, и ей очень хочется отдубасить его за все его противности.

— И отдубашу! — закричала Клавдия в гневе, бросаясь к двери и одеваясь на ходу.

Клавдия хлопнула дверью и ушла. Долгов, повздыхав, поднялся с дивана: надо было затопить печь, чтобы к утру не околеть от холода — дом не топили со вчерашнего вечера, а погодка была дрянная, промозглая, дождь вот-вот мог перейти в снег.

Участковый поднял его с постели ни свет ни заря, пришел снимать показания. Потребовал, чтобы Долгов показал ему спину, сосчитал ранения, попросил чем-нибудь похмелиться — «хоть вином, хоть рассолом» — и пока пил вино — выпил три стакана один за другим без передышки, смотрел на Долгова сверлящим взглядом, будто впервые видел его, а потом, отдышавшись, спросил, как все было: откуда стреляли, сколько раз, какой дробью и по какой такой причине. На последний вопрос Долгов, естественно, ответить не мог. Потом участковый осмотрел веранду, двор, ходил на другую сторону улицы за калитку, считал собственные шаги. Вернувшись в дом, составил протокол — исписал целый лист бумаги — предложил Долгову под этим протоколом подписаться, спрятал лист в планшет и сказал, что не прочь был бы еще малость похмелиться, поскольку после вчерашних именин в голове у него не мозги, а свинцовые шары.

Долгов сказал участковому, где взять вино, и спросил:

— И что ж теперь будет?

— А то и будет, — ответил участковый, наполняя свой стакан красным вином, — что шайка пойдет на шайку, банда на банду, а я буду стрелять и туда, и сюда.

— Так ведь убьют тебя, — сказал Долгов.

— Ну и хрен с ним, — улыбнулся пьяный участковый. — А тебя, Павел Николаевич, убьют скорей. Так что смывайся отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Вот бабка Шурка говорит, что тебе надо поселиться на Белой косе и стать отшельником и что станешь ты там святым человеком.

Участковый ушел, и в доме стало так тихо, что было слышно, как чешется время от времени Булька у печи и как стучит за окном надоевший дождь. А потом вдруг и дождь притих. Долгов глянул в окно и увидел, что сквозь ветки мокрого дерева, как мелкая рыбешка сквозь крупную сеть, косяком летит снег.

— Ах ты ж Боже мой! — с досадой простонал Долгов. — Опять зима!

И тут снова появилась Клавка: перешагнула порог комнаты, закрыла за собою дверь, прижалась к косяку, выжидающе глядя на Долгова и теребя на груди концы шерстяной шали.

Долгов сидел на диване, опираясь грудью на подушки, лежащие у него на коленях. Не привстал, не сказал ни слова: лишь коротко глянул на вошедшую Клавдию и отвернулся к окну, будто не посмотрелся на снег.

Клавдия спросила, не приготовить ли ему чего-нибудь поесть. Долгов ответил, что сам справится, если надо будет. Другая после таких его слов, наверное, ушла бы, но у Клавдии в запасе нашлась еще одна причина, по ко-

торой она оказалась здесь: ей как фельдшернице надо было осмотреть спину Долгова.

Она молча подошла к Долгову и решительно сняла с него кофту. Протерев раны и наложив на них новые пластыри, Клавдия сказала, что сейчас займется приготовлением еды, а он в это время может включить телевизор, где скоро начнется очередная серия американского фильма, у которого, кажется, никогда не будет конца.

— Лучше уж расскажи сама что-нибудь, — сдался Долгов. — Какие, например, ходят слухи.

Слухи же, как поведала Клавдия, на этот раз были такие: будто сама Клавка и стреляла в Долгова, поскольку он уже оставил завещание в ее пользу на дом и все имущество, но собирался порвать это завещание, так как Клавка ему надоела до чертиков, и он стал мечтать о другой бабе. Словом, решила убить его, пока он не уничтожил завещание, а еще и в отместку за подлую измену.

— Разве у тебя есть ружье? — спросил Долгов.

— Есть, — ответила Клавдия. — Если кто-нибудь сунется ко мне в дом, обязательно пристрелю.

— Какие страсти! — засмеялся Долгов.

Клавдия поджарила картошку на сале, подала с квашеной капустой.

— Поешь со мной, — предложил Долгов.

— Сыта, — ответила Клавдия.

Она ушла, а он ее и не удерживал.

Булька перегрелась у печи, перебралась на диван к Долгову, лизнула его в щеку, дескать, не тужи, полежим вместе, подремлем в тишине. На печи что-то тонко пело. Это тихое монотонное пение напомнило Долгову другое — ночное стрекотание кузнечиков в летней степи, которое то слышишь, то, привыкнув к нему, не слышишь, пение колыбельное, нежное, сладкое.

Перед оком сна закачались сменяющие друг друга миражи — поля, деревья, степные дороги, белая кромка морского берега, стая чаек, золотое облако над зеленым морем. Долгов осознавал, что это миражи, что они возникают в его дремлющем мозгу, всматривался в них и был доволен и умиротворен этой игрой...

Вдруг он увидел поднимающееся из темной морской воды тусклое красное солнце — и сердце его то ли остановилось, то ли дернулось, потеряв привычный ритм. Он и сам весь дернулся, едва не соскочил с дивана, схватился за сердце и прошептал:

—Убьют.

И оттого, что все другие мысли дремали, все живое закричало в нем от страха.

Булька спрыгнула с дивана и, недовольно повизгивая, пошла за открытую кухонную дверь, в темный закуток — лежать рядом с дергающимся хозяином ей не хотелось. Долгов какое-то время находился в полном оцепенении, потом страх отпустил его. Он глубоко вздохнул и выругался.

Ночью кто-то бросил с улицы камень в окно. Долгов уже спал, когда раздался звон разбитого стекла и тяжелый булыжник грохнулся на пол возле печи.

Он провалялся на диване еще целую неделю, не столько из-за ран, сколько из-за плохой погоды, ничего не делал, не читал, не смотрел телевизор, большей частью спал, а когда не спал, то смотрел в потолок — размышлял о скуке жизни.

К концу это тоскливой недели дождь утих, и в небе заиграло веселое весеннее солнце. А еще через несколько дней в саду зацвели вишни, вдоль оград и у мощеных дорожек пробилась молодая травка, а у погреба на солнечной стороне подняли желтые головки одуванчики. Ошалело чирикали воробьи. Парочка скворцов целыми днями сидела на ветке у старого скворечника и что-то насвистывала в полудреме, обласканная солнцем. Был конец апреля.

Несколько дней Долгов прожил почти счастливо: было тепло, светло, спина почти зажила, никто его не беспокоил. А девятого мая, в День Победы, кто-то стрельнул из ракетницы в чердачное окно его дома. Стрельнули, когда стемнело, когда по всему селу гремела праздничная музыка — редко в каком доме не отмечали праздник. Яркая красная ракета с шипением пронеслась над огородами и как раз угодила в чердачное окно, которое было открыто — после весенней сырости Долгов проветривал чердак дома. Трудно сказать, целились поджигатели в окно чердака или нет — из ракетницы вообще-то трудно прицелиться. Но то, что ракета была запущена в его двор, Долгов ни на минуту не сомневался.

В эту минуту он поднимался из погреба с бутылью вина — тоже собирался отметить праздник, к тому же ждал гостя: обещался быть Иван Иванович, директор школы, с которым повстречался на митинге у памятника погибшим в войну односельчанам. Да и Клавка грозилась прийти, все ж живой человек, для праздника пригодится. И тут он увидел, как красная ракета, шипя, нырнула в чердачное окно. От неожиданности такого явления он уронил бутыль с вином, чуть сам не загремел по лестнице обратно в погреб. Бутыль, слава Богу, не разбилась, и сам он устоял. Бросился к дому, к приставной лестнице, оставленной у чердачного окна. Пока бежал, увидел Клавку.

— Чего это? — орала Клавка. — Где вода?

Тушили огонь вдвоем. Долгов порадовался, что в свое время утеплил чердак дома камкой, сухой морской водорослью, которая не горит. И все же пожар едва не случился: загорелись в миг стропила, старые гарные ящики и прочая рухлядь. Справиться с огнем помогло то, что в отопительном баке была вода. Ее-то и хватило, чтобы сбить огонь. Добрых полчаса они вертелись среди огня, дыма и пара. Клавка так и кидалась на огонь, глупая баба, рисковала собой ради чужого добра, спустилась с чердака вся черная от копоти, в разодранном платье, а платье было выходное, береженое.

— Прими мою благодарность, — сказал ей Долгов.

— Ладно, — махнула рукой Клавка, — Бога благодарю.

Пришел, как и обещал, Иван Иванович, директор школы, узнал про пожар на чердаке, сказал:

— Уезжать тебе надо, Павел Николаевич. Народ доконает тебя, чтобы никакого воспоминания у него о прошлой жизни не осталось. О счастливой жизни. Озверел народ.

— На косу пойду, — ответил Долгов. — Райской жизни поищу, — грустно засмеялся он.

— И уходи, — поддержал его Иван Иванович. — Полнолуние близко, четырнадцатого, кажется. Проверишь как раз, что это за сказка такая про Золотую косу. А то все болтают, а проверить — охотников нет.

— Чепуха это, — сказал Долгов. — К тому же на четырнадцатое конец света назначен, — Долгов поглядел на Клавку. — Одна баба предрекла.

— И вовсе не баба, — возразила Клавка. — В научном журнале было написано.

— Ладно, — не стал спорить Долгов. — Пойду четырнадцатого. Посижу на косе деньков пятнадцать-двадцать, подумаю обо всем хорошенько, отдохну нервами, покупаюсь, здоровье подкреплю. А там, возможно, и за дело какое-нибудь возьмусь. Надоело бездельничать, на пенсии сидеть.

— Правильно, — похвалил его Иван Иванович. — Дело лечит душу и тело. Сам пословицу придумал, — похвастался он. — Нравится?

Первый рейс на Белую косу Долгов сделал на своей «Волге» в субботу утром, тринадцатого мая. Отвез туда одежду, воду, дрова. Вторым рейсом в тот же день доставил в рыбацкий домик продукты, которых должно было хватить ему дней на пятнадцать-двадцать: крупу, фасоль, сало, картошку, лук. Долго стоял на оконечности косы, смотрел на море. Было хорошо — свободно, спокойно, легко дышалось. Было желание теперь же и остаться тут, но сделать это никак было нельзя: уже не раз случалось, что штормы размывали косу почти у самого рыбацкого домика, образовывалась широкая протока, через которую на машине не переехать — пришлось бы в таком разе застрять с машиной на косе черт знает на какой срок, ждать, когда другой шторм забьет промоину песком. К тому же надо было проверить дурацкую сказку — пойти за луной, за полной, какой она взойдет завтра, в воскресенье, четырнадцатого мая...

Едва он под вечер вернулся домой, пришла Клавка, долго стояла у калитки, смотрела, как Долгов, загнав машину в гараж, завинчивал за ней дверь на несколько болтов с хитрыми шляпками, с какими одним ключом не справишься.

— Деньги тебе за труды вперед или потом? — спросил Клавку Долгов: на нее он оставлял по договоренности все свое хозяйство.

Ни вперед, ни потом, — ответила Клавдия. — Не нужны мне твои деньги.

— А что нужно? А? Что нужно?

Глаза у Долгова при этом бесстыже забежали — так показалось Клавке.

— У, кобель! — махнула она на него рукой, но не разозлилась, вошла во двор, стала перед Долговым, выпрямившись, как столб, будто даже грудь

выпятила, хотя у нее под лифчиком почти ничего не было, спросила: — Ты хоть помнишь, какой завтра день-то?

— Какой?

— Говорили же, что на завтра конец света напророчен.

— Конец?! — захихикал Долгов. — Света?

— Не дурачься, — попросила его Клавка. — С судьбой шутить не надо.

— Ага, значит, все серьезно, конец света все-таки придет. И не иначе, как завтра. В таком случае скажи мне, почему же ты не бежишь на кладбище, чтобы застолбить там себе место получше?

— Ой, и дурак же ты, Павел! — пристыдила Долгова Клавка. — Несусветный дурак! А дело серьезное, о душе подумать следовало бы.

— А ты уже подумала?

— Подумала.

— Оно и видно. Нарядилась, как будто в клуб собралась. Надушилась. Прямо красавица какая-нибудь! Красивая, аж глазам больно. А надо бы в саван завернуться... Ладно, — сказал Долгов, направляясь в дом. — Зайди на минуту, — и оглянулся, да при этом так посмотрел на Клавку, что та так и бросилась за ним, будто он ее заарканил.

— Хорошо мы отметили конец света, — сказал Долгов, когда они, отдышавшись от жарких ласк, лежали на диване. — Славно отметили.

— Как надо, — согласилась Клавка.

Тихий воскресный день пролетел быстро. Оставив ключ под ступенькой крыльца, Долгов позвал Бульку и вышел со двора не через калитку, обращенную к улице, а через другую, что вела в огороды, к тропе между межами, к выгону и дальше к кургану, на котором верующие недавно поставили высокий крест. От этого кургана по солончакам лежал прямой путь к Белой косе.

Булька будто того только и ждала — резво бежала за Долговым, а на кургане, где Долгов остановился, присев под крест в ожидании восхода луны, легла у его ног и тотчас уснула, блаженно вытянувшись на гладкой муравке. Долгов сидел, оборотясь лицом к далекому морю, к востоку, где должна была подняться полная луна.

Часы показывали, что до восхода оставалось менее получаса, когда он услышал за спиной словно бы чей-то приглушенный голос. Долгов обернулся, встал, вглядываясь в уже сумеречную степь, отделявшую курган от села. Увидел странную гряду, которую прежде никогда не замечал — как бы растянувшееся в цепочку стадо овец или коров: истинные размеры предметов, образующих гряду, не удавалось определить, да и что это были за предметы — тоже. Гряда как будто слегка колыхалась то там, то сям, но не приближалась и не удалялась. А потом Долгов вдруг сразу понял, что это за гряда: там вспыхнул огонек, кто-то зажег спичку.

— Стало быть, люди, — вздохнул Долгов. — Дорогие односельчане, стало быть.

Он позвал Бульку, спустился с кургана. Навстречу ему из-за черного края горизонта показался розовый светящийся холмик, отсеченная горизонтом долька полной луны. От гряды, растянувшейся в степи за спиной, послышались сначала неясные голоса, а потом чей-то чистый женский голос прокричал:

— Иди с Богом!

— Уже иду, — тихо отозвался Долгов и вдруг заплакал. Слезы так обильно хлынули из глаз, что он невольно остановился: из-за слез ничего не стало видно — ни степи впереди, ни луны за степью.

Какие чувства вдруг сошлись с такой болью, какие мысли, что вдруг выплеснулись слезами? А черт их знает, что это были за чувства и мысли. Одно только годилось для ответа: уходило его, как бурку крутые горки, годы и люди, загнали да и вытолкнули в пустую солончаковую степь. И он побрел, понукаемый ими, якобы за чудом, за счастьем. Но он-то знает: за губительным одиночеством, от которого его не спасут ни луна, ни коса, ни море. Не спасут, потому что жизнь кончилась, иссякла надежда, а не только время. Наступил конец света.

Он постоял с минуту, борясь со слезами, потом нагнулся, поднял Бульку, чтобы не потерять ее в темноте, и пошел дальше, глядя на лунный шар, который как-то уж очень быстро поднялся из-за горизонта и покатился в темное небо.

От кургана к косе можно было идти по проселку, когда б не нужда все время держать курс на луну. По проселку он прошагал всего минут десять, думая, что так, не сворачивая с него, и дойдет до косы. По целине идти не очень-то хотелось: там хрустящие под ногами солеросы, жесткая полынь, растущая кустиками на кочках, о которые в темноте легко споткнуться, цепкие кермеки, мягкие, со вспушенной землей такыры. Солеросы хрустят под ногами так, будто давишь подошвами ракушки. Кончились солеросы, началась низина, что в осенние сильные штормы заливается горькой морской водой, образуя сиваш, гнилое болото, которое стоит долго, разит сероводородом, привлекая к себе куличков и уток на перелете — здесь всегда много криветок и морских блошек, есть чем птицам подкрепиться.

За низиной пошла сухая полынная степь с проплешинами, такырами, на которых ничего не растет. Земля на такырах вспухает от перегретой солнцем соли, становится безжизненной и мягкой, ноги в ней прогрузают по щиколотку, тонкая пыль набивается в башмаки, щекочет солью в носу. Когда идешь по такыру, все время кажется, что вот-вот провалишься сквозь землю, нырнешь в нее с головой. На такырах жуки-скараabei обкатывают в мягкой пыли свои кизячные шарики, любят греться гадюки, у такыров роют свои норы суслики — здесь всегда сухо. Степные ложбинки, где после дождей дольше держится пресная вода, зарастают кермеком, который уже в мае покрывается мелкими голубыми цветочками. Стебли у кермека прочные, как проволока, он и сухой не валится, стоит. Эти низинки днем похожи на голубые облака, упавшие на серую полынную степь.

За кермеком снова начался такыр. Долгову показалось, что он вышел на пахоту — так мягко стало под ногами. Он даже нагнулся, чтобы пощупать рукой, точно ли это не пахота, взял щепотку земли, растер в пальцах, поднес к носу — запахло горькой красной солью прибрежных сивашей.

Луна была багровая, громадная, мрачно-тихая, вся в темных пятнах, будто вывалилась в пыли, обкаталась на такырах, как навозный шарик скарабеев. Она поднималась в густую пепельную мглу, будто в дым от горящих за горизонтом пожаров. Казалось, что в воздухе даже пахнет дымом, гарью. Красная полоска по горизонту словно обещала приход огня, хотя это был только лунный свет на воде — там с небом сливалось море.

Булька лизнула Долгова в подбородок — уютно ей было на руках у хозяина. Долгов погладил ее по голове, прижался к ее теплому бочку щекой. Как славно, подумал он, что Булька напомнила ему о себе: не один он в этой степи, не один перед восходящим в небеса адским племенем — у сердца его бьется другое сердечко, пусть и собачье, бьется с сочувствием и любовью.

Булька завозилась, попросилась на землю, чтобы справить свою быструю нужду. Долгов притоптал кусты кермека, чтобы Булька в них не запуталась, отпустил Бульку. А когда поднимал ее обратно, увидел впереди что-то темное на фоне подсвеченного луной неба, большое, величиной с многоэтажный дом, будто облако стало перед ним, на вершине которого сидела луна. Долгов подумал, что это кровь прилила к глазам, когда он нагнулся за Булькой, постоял, ожидая, что это отхлынет. Ему и дурно стало, как от прилива крови, качнуло так, что он сделал неверный шаг в сторону. Устоял, продышался. Но облако не пропало, а стало будто еще чернее и ближе.

— Что ж за хреновина такая? — вслух произнес Долгов и завернулся в звук своих слов, как в некую защиту, отвоевал для себя безопасное пространство, отодвинул враждебное, чужое. — Ну не хреновина ли?

Он протер глаза, оглянулся. Нет, за спиной все было, слава Богу, обычно, никакого облака, а это, что впереди, еще ближе придвинулось к нему, неся на себе вдруг засверкавшую чистым серебром луну.

— Ну и пойдем, — сказал он Бульке. — Нам ли бояться?

Булька задрожала, будто от озноба. Долгов прижал ее крепче к груди и, высоко поднимая ноги, чтобы не запутаться в стеблях кермека, зашагал вперед, к черному облаку, увенчанному яркой луной. Там ничего не было.

Это оказалась всего лишь тень от чего-то, нависшего в небе над головой, будто какая-то крыша, темный непрозрачный свод, заслонивший собою луну. Только тень, безлунная зона, а все прочее оставалось прежним — хрустящая солеросами земля, которая уходила вдаль клином, обрамленным с обеих сторон туманно мерцающими водами. Впереди была коса. Это над ее основанием висела тень, плотное облако, закрывшее луну.

— Вот видишь, — сказал Долгов Бульке. — Когда думаешь о чертовщине, то чертовщина и мерещится.

Они сделали еще несколько шагов. Луна, вынырнув из облака, повисла над дальней оконечностью косы.

— Стало быть, пришли, — сказал Долгов, опуская Бульку на песок. — Теперь своими лапками, сама, сама.

Начало косы было широким, саженой двести, так что на нем уместилось даже небольшое заморное озеро, еще более пахучее, чем соседние мелководные лиманы. Вода в этом озере была мертвой, потому что зимой промерзала до дна, а летом так нагревалась под солнцем, что ничего живого завестись в ней не могло. На подсыхающих в жару берегах заморного озера ложилась коркой соль.

Долгов вышел на косу правее озера, прямо на дорогу, которая тянулась по косе до самого ее мыса, до рыбацкого домика. Впрочем, это только так говорится — дорога. На самом деле это был лишь оставленные вчера долговской «Волгой» след.

«Чуда-то нет», — подумал Долгов с облегчением. Освободившись от Бульки, Долгов взмахнул руками, как крыльями, чтобы размять мышцы. И тут чей-то голос, прозвучавший бог весть откуда, вдруг спросил:

— Хочешь лететь?

— Хочу, — не подумав, ответил Долгов. — А как?

— Да так и лети, — ответил голос, и Долгов снова не понял, откуда он прозвучал: сверху ли, со стороны ли, а может, и в нем самом, в голове.

Долгов снова взмахнул руками и почувствовал, что оторвался от земли и повис в воздухе.

— А Бульку возьмешь? — спросил его все тот же голос и тут же приказал: — Возьми!

Долгов опустил на землю — отделился-то от нее ненамного, может, на метр или два — взял Бульку и, расстегнув рубаху, посадил собаку себе за пазуху.

— Полетим, — объяснил он Бульке, замахал руками и немного ногами, как при плавании в воде, чтоб ноги не свисали, и плавно поплыл над косой.

— Сон! — вдруг сказал он самому себе, поняв, что реально полет невозможен, и так брякнулся на землю, что больно ушиб себе плечо. Поднялся, чертыхаясь, проверил, не зашиб ли Бульку, вынул ее из-за пазухи, приблизил ее мордочку к лицу, сказал, извиняясь: — Заснул, видишь ли, на ходу, вот и шлепнулись, ты уж извини. Умаялся я, целый день на ногах, в хлопотах, а тут еще эта Клавка..., — что он делал с Клавкой, Долгов рассказывать Бульке не стал.

Далее без приключений они добрались до рыбацкого домика, там поужинали, Булька сразу задремала. Долгов прикрыл Бульку одеялом, сам же вышел из домика, сел на берегу, почти у воды, с той стороны мыса, где была луна, чуть поодаль от серебристого лоха, который хоть и был стар и коряв, все же почувствовал весну, украсился душистым цветом.

Боже, что за запах у цветущего лоха! Иные говорят — конфетный, карамелью де пахнет. Чудаки! Им все, что не навозом отдает, пахнет конфетами. Но у лоха запах совсем не конфетный, хотя и сладкий. Кто знает этот запах с детства, кто вырос в краях, где цветет лох, тот никогда его не спутает с запахом каких-то там конфет. Во-первых, это запах весны — сначала

цветет по весне лох, а потом уж, следом за ним, все другое. С этим запахом приходит на землю настоящее тепло, свет. Старых людей он приятно печалит, заставляя их вспоминать молодость, а молодых влечет на улицу, в поля, и не просто влечет, а вытаскивает из опостылевших за зиму домов. Под этот запах молодые влюбляются, обнимаются и целуются. Долгов не знает, есть ли на самом деле любовный напиток, но любовный аромат есть — это аромат цветущего серебристого лоха.

Любовь — вот настоящее чудо. Понятно, что речь идет о продолжении человеческого рода, но сколько нежности, сколько мыслей о красоте, о совершенстве, сколько блаженства, сладостного томления... Человек любит другого человека — вот в чем чудо. Обычно же он враг другому, соперник, помеха, в лучшем случае, компаньон, да и то лишь до поры до времени, потом все равно: враг, соперник, помеха, обуза. А тут — любовь, молодая, жгучая, одна на всю жизнь радость. В ней одной — чудо. Все остальное — износ для души и тела.

Что-то зашуршало за спиной, будто песочек с обрыва посыпался. А и точно, песочек, подумалось Долгову, ничему другому и быть невозможно.

— Или Булька? — в голос спросил Долгов. — Это ты, Булька?

Это и на самом деле оказалась Булька — прибежала, стала повизгивать, лизаться: как же, потеряла, было, любимого-разлюбимого хозяина и вот нашла. Долгов притиснул ее к груди, затем отпустил, погладил.

— Видишь, море, — сказал он ей, — а над морем — луна. Любуюсь этой картиной, — объяснил он ей. — Свет на небе и свет на воде, от неба и от воды. Удвоение света. А любовь, если хочешь знать, удвоение жизни. Вот в чем радость. — Помолчал, спросил, обращаясь все к той же Булке: — Так ты меня по запаху нашла? Чем же я пахну? Все же думаю, что не дерьмом. И Клавкин дух, наверное, на мне остался. Ох уж эти бабы, до чего духовитые, как серебристый лох...

Еще до завтрака решил искупаться. Вода была холодной, майское солнышко хоть и прогревает ее, да не очень глубоко, за ночь в воздух все тепло улетучивается. Долгов разделся догола, охая и дрыгая ногами вошел в воду, плеснул на себя руками и тут же шлепнулся на живот, чтоб побыстрее привыкнуть к холоду. Сразу же перевернулся на спину и поплыл. Булька залаяла, забегала по берегу, но в воду не пошла, прилегла возле одежды хозяина, тихонько скуля: не нравилось ей, что хозяин уплывал куда-то. Долгов окунулся с головой, быстро поплыл к берегу — от холода стало ломить кости. Вышел на берег, запрыгал, стяхивая с себя воду, пожалел, что не взял с собой полотенце — зазнобило его, затрясло. Схватив одежду, он гольшом побежал к домику, сначала по колючим ракушкам, затем по мягкой песчаной осыпи. Булька помчалась следом.

В домике Долгов согрелся, обсох, но засиживаться не стал — пора было готовить завтрак. Чуть поодаль от домика вырыл в песке канавку, приладил над ней камни, положил между ними сухих дровишек, разжег огонь, поставил на камни чайник и рядом кастрюлю с пшеничной крупой.

Печка задымила, застреляла, стала лизать пламенем бока кастрюли и чайника, перебила морской дух древесным дымком.

Он уже съел миску каши с клубничным вареньем, щедро поделившись с Булькой, и пил чай все с тем же вареньем, как вдруг к нему кто-то приблизился неслышно сзади и тихо, чтоб не испугать неожиданным появлением, спросил:

— А ты не каешься?

Булька как лежала, так и осталась лежать, даже ухом не повела, хотя всегда облаивала чужих. Долгов повернул голову, посмотрел через плечо. В двух шагах от него, опираясь на посох, стоял человек в длинном белом одеянии, в белой панаме, в сандалиях на босую ногу, с белой бородой и усами, с такими же белыми пушистыми бровями над темными печальными глазами. На руках его блестели перстни, особенно один с большим ярким красным камнем — с рубином, наверное.

— Ты не каешься? — повторил он свой вопрос по-прежнему тихо и вежливо.

— Ты кто? — удивился его появлению Долгов. — Откуда взялся?

Белый старик словно испугался, услышав голос Долгова, затрясся весь, закачался и вдруг как бы рассеялся в воздухе, исчез.

— Во дает! — изумился Долгов. — Ангел, что ли? Хотя теперь, кажется, все возможно: инопланетяне, ангелы, жители параллельных миров так и шагают по земле — свобода!

Пока Долгов готовил снасти — леску, поводки, крючки, грузильца, пока выискивал в гниющих водорослях на полосе прибоа морских блошек, рачков и червячков, Булька вертелась у него под ногами, а потом, когда он уселся уже на берегу и забросил в воду свои закидушки, вдруг помчалась по берегу к оконечности мыса, какое-то время лаяла там на кого-то, потом умолкла, совсем пропала из виду.

— Булька! — позвал Долгов. — Булька, Булька! — повертел головой и увидел Бульку за спиной над обрывом возле насыпи, по которой спустился к воде. Да не одну увидел, а рядом с белым старцем.

— Чего опять? — спросил Долгов, поднимаясь на ноги.

Что-то замелькало в глазах, появилась резь. Долгов прищурился — смотреть на Бульку и на старца приходилось против солнца — и чуть не вскрикнул: человек, стоявший на обрыве рядом с Булькой, был вовсе не в белом, как ему привиделось сначала, а в черном, потом снова вдруг стал в белом и опять в черном. Булька покатила по осыпи вниз, радостно лая. Следом за ней двинулся и человек. Теперь он был точно в черном, не менялся. И когда вскрикнул, оступившись, Долгов узнал в неожиданном госте Клавдию.

— О, черт! — выругался он. — А мне померещилось... Клавдия, ты ли это?

— Я! Я! — отозвалась Клавдия, спускаясь по осыпи.

Долгов поспешил к ней. Едва узнав Клавдию, он почувствовал что-то неладное, а теперь, приблизившись к ней, понял, что с Клавкой случилась

беда: платье на ней было разодрано в нескольких местах, с подгоревшим подолом, лицо Клавкино было черно, в саже, как тогда, когда они вместе тушили огонь на чердаке, одна скула кровоточила глубокой ссадиной, кисти рук были замотаны в тряпье, глаза полны слез.

— Они сожгли твой дом, — сказала Клавка, когда он обнял ее за плечи. — И меня хотели сжечь, да я убежала, — заплакала она навзрыд и запричитала: — Все сожгли! И поросенка, и гусей! Подожгли со всех сторон, не подступиться. Бензином, наверное, облили. И гараж — машина так рванула, что огонь пошел столбом, выше тополей. Я звала пожарных, а они меня толкали в огонь. «Вот тебе твое наследство, — говорили, — жри его!» Я едва вырвалась. Весильный Боже, спасибо тебе!

— Гнались? — спросил Долгов.

— Гнались. Потом отстали. Кричали: «Передай своему партократу — пусть не возвращается!». Огонь от твоего дома был такой сильный, что в селе было видно, как днем. Никто не тушил, все глазели — и ни с места. Одна только я, — снова завопила Клавка. — Но что я могла сделать одна?..

Когда Клавка немного успокоилась, Долгов повел ее к домику, усадил на камень под серебристым лохом, напоил чаем, сказал:

— Сейчас нагрею воды, искупаю тебя. Можно бы и в море, но там вода очень холодная, с твоей худобой простудиться раз плюнуть.

— Да, — трясла головой на всякое его слово Клавка. — Да.

— И спать уложу. Всю ночь ведь не спала?

— Не спала. Всю ночь.

— Только вот переодеть тебя не во что.

— Да. Не во что.

— Мою одежду возьмешь.

— Да. Твою. Моя вся сгорела.

— Что? — не понял Долгов. — Вся сгорела? Или только это платье?

— Вся, — тихо ответила Клавка. — Ведь мой дом тоже подожгли. Раньше твоего. Так что вся моя одежда и сгорела.

— Так, — Долгов присел рядом с Клавкой, приобнял ее за плечи. — Стало быть, мы оба погорельцы. Ну и ладно, — он погладил Клавку по голове. — Главное, сами живы остались. Да еще Булька с нами.

— Да еще Господь, — добавила Клавка. — Господь нас не оставит.

Он искупал ее, накормил, уложил в постель. Сам лег рядом. Они проспали до вечера. Проснулись, когда луна взошла, когда звезды зажглись. Долго сидели на берегу. Море и небо светились лунным и звездным светом. И лица их светились — нежностью друг к другу, любовью. За спиной у них стоял белый человек и молчал.

Симферополь. 1996.

